

ОЛЬГА
МИХАЙЛОВА



Шерлок
от литературы



Ольга Михайлова

Шерлок от литературы

«Мультимедийное издательство Стрельбицкого»

Михайлова О. Н.

Шерлок от литературы / О. Н. Михайлова — «Мультимедийное издательство Стрельбицкого»,

ISBN 978-0-35-913182-2

Литература полна загадок. Мы до сих пор не понимаем: почему покончил с собой Маяковский? Точно ли Анна Ахматова родственна Данте Алигьери? Смерть Есенина — это происки ГПУ? Почему Блок принял революцию и почему в его смерти так много умолчаний? Почему почти все классики — выходцы из несчастных семей? Почему спился Шолохов, и почему литературоведы сомневаются в авторстве «Тихого Дона»? В чём ущербность советской литературы? Что стоит за самоубийством Фадеева и почему стрелялся Николай Островский? Точно ли, что любого писателя и поэта можно прочитать по его произведениям? «Декамерон» — это точно книга о радостях жизни? В чем тайна Гамлета? И, наконец, правда ли, что гомосексуалисты — талантливы? Все эти вопросы, а также и многие другие, мирно обсуждают за коньячком в особнячке Банковского переулка два питерских филолога Мишель Литвинов и Юрик Истомин.

ISBN 978-0-35-913182-2

© Михайлова О. Н.
© Мультимедийное издательство
Стрельбицкого

Содержание

Пролог	6
Глава 1	10
Глава 2	15
Конец ознакомительного фрагмента.	20

Ольга Михайлова

Шерлок от литературы

Главное, чему учит чтение книг, – что лишь очень немногие книги заслуживают прочтения.

Генри Луис Менкен

Во мне, а не в писаниях Монтеня содержится то, что я в них вычитываю.

Блез Паскаль

Пролог Перезагрузка сознания

Я был просто дураком, и единственное, что меня извиняло – молодость.

В двадцать два глупость ещё простительна.

– Юрий, я не могу быть с тобой. Ты должен понять, – Рита смотрела странно пустыми глазами, – Сергей и я… мы решили пожениться.

Должен понять? Наверное, но я не понял. Не смог.

В университете была военная кафедра, однако на следующий день я появился в военкомате. Там на меня тоже странно посмотрели, но вроде поняли.

Так я оказался в Афгане, где мы воевали уже восемь лет. Это был не Кандагар, но тоже горячее местечко. Когда я понял, что был дураком? При первом же подрыве, почти как в матрице процессора компьютера, в мозгу идёт переформатирование сознания с одновременным осознанием нового уровня сложности жизни.

И я быстро понял, что измена нравящейся девицы, в общем-то, не стоит и гроша, предательство же того, кого считал другом, – тоже не повод для отчаяния, и таких резких движений впредь делать не следует.

Это был первый вывод зрелости. При этом в Афгане какая-то незримая стена отделяла меня от остальных. Сблизиться ни с кем не получалось. Я вроде считался своим, но… всегда вроде.

…Каска спасла мне жизнь, сказал потом нейрохирург. Но это уже в госпитале, а сначала были вспышка, тугой толчок воздуха и жестокий удар о неприветливую афганскую землю. Мгновенный провал в сознании. Открыв глаза, я удивился тишине. Где-то далеко-далеко бесшумно горела боевая машина, и суетились люди. Не было звука, не было боли и ощущения собственного тела. Но потом пришёл запах горелой резины и раскалённого металла, нахлынула боль, заполнившая череп раскалённой лавой. Всё шло отрывками, через черные провалы. Командир взвода с запёкшейся ссадиной на лице орал: «Истомин! Слышишь меня? Истомин!». Подрагивающий пол вертолёта и матерящийся от боли сосед. Приёмный покой госпиталя, белый потолок больничной палаты.

Английский пилигрим Ферер записал в походном блокноте: «Иностранец, которому случится попасть в Афghanistan, будет под особым покровительством неба, если выйдет оттуда целым и невредимым и с головой на плечах». Что же, небо покровительствовало мне: я возвратился в Питер – нервный и издёрганный, но с головой на плечах. Она уже почти не болела.

Война оказались в прошлом, но переход к покою дался мне тяжелее, чем пути по пыльным афганским тропам после прогулок по ленинградским проспектам. По ночам я всё ещё воевал, и спокойствие городских улиц действовало на нервы. Впрочем, чего врать-то? На нервы действовало абсолютно всё.

Конец августа не дал времени на размышления: я хотел вернуться в университет. Это удалось неожиданно легко, потребовалось только написать заявление на имя декана с просьбой восстановить меня на четвёртом курсе. Я написал. Мои сокурсники уже окончили университет, и, понимая, что попаду в общество незнакомых людей, я нервничал ещё больше. На Университетскую набережную пришёл за полчаса до занятий – сам не зная, зачем. Потоптался у расписания, переписал его в блокнот, поднялся на второй этаж.

…Он появился в конце тёмного коридора и неровной вихляющейся походкой подошёл к моей аудитории. Глаза, большие и наглые, окинули меня быстрым взглядом. Я сжал в карманах кулаки. Очень худой, вихрастый, с насмешливой шутовской рожей, он не понравился

до отвращения, но я сдержался: коридор за его спиной уже наполнялся людьми, стало шумно, двери в аудиторию распахнулись, краем глаза я заметил нашего куратора.

Неожиданно кривляка заговорил:

– Афганистан, – кивнул он так, словно свидетельствовал, что дважды два – четыре. Потом, без всякой паузы, добавил, – не нужно так сжимать руки в карманах, Юрий, даже если моя физиономия вам не по душе. А что она вам не по душе – понятно как раз из сжатых кулаков в карманах. Мы не выбираем себе лица. – Он снова улыбнулся и гаерски поклонился. – Я – Михаил Литвинов.

– Откуда вы знаете, как меня зовут? – я смерил его тяжёлым взглядом.

Всегда терпеть не мог, когда навязываются со знакомствами.

– Ну, откуда бы мне это знать? – снова усмехнулся он и пояснил, как ребёнку, – в деканате, разумеется, сказали. Вам не понравилось, что я излишне фамильярен? – проницательно спросил он. – А мне показалось, вам не хватает… – он неожиданно умолк.

– Чего? – тон мой стал резче.

Этот паясничающий гаер порядком надоел. Кроме того, в деканате я сказал, что вернулся из армии, но никому ничего не говорил про Афганистан, и то, что он угадал, тоже разозлило.

– Чего мне не хватает?

Улыбка сбежала с лица Литвинова. Он обернулся на шум в коридоре, где за его спиной две девицы с визгом бросились друг другу в объятья, потом снова посмотрел на меня – всё тем же остановившимся тёмным взглядом.

Теперь он показался серьёзным и печальным. Я отметил, что глаза его – тёмные, без зрачков, – напоминают дула автоматов. Пока он смеялся, это не пропуспало.

– Вообще-то нам всем не хватает любви, – негромко и хрипло ответил он, вовсе не старавшись перекричать гул коридора. – Я где-то прочитал, что все беды мира происходят оттого, что в нём страшно не хватает любви.

Я оторопел: слова эти какой-то нелепой неотмирностью неожиданно смущили. На минуту промелькнула дурная мысль: «Уж не с голубым ли свела меня недобрая судьба?», но в голове она как-то не задержалась. Сам же Литвинов всё той же неровной походкой медленно пошёл к распахнутой двери кабинета, и тут до меня дошло, что он просто прихрамывает.

Я снова смущился и поспешил войти следом.

Небольшая аудитория была заполнена почти наполовину, контингент на курсе оказался в основном женским. Четверо мужчин – Литвинов, двое палестинцев с чёрно-белыми шарфами и один маленький шоколадный человечек, оказавшийся принцем Бангладеш, выглядели случайными вкраплениями чёрной слюды в этой цветной мозаике.

Литвинов сел за второй стол у окна, похоже, это было его привычное место.

Девицы, среди которых я не заметил ни одной хорошенечкой, всё ещё оживлённо здоровались друг с другом, целовались и повизгивали, некоторые кивали Михаилу, а одна даже чмокнула его в щеку и почему-то назвала Шерлоком, но место рядом с ним оставалось свободным. Это снова насторожило меня, тем более что я поймал его мимолётный приглашающий взгляд.

Тут, однако, прерывая мои мысли и подавляя подозрения, в аудитории появилась девушка, одетая как с модной картинки. В повороте головы мелькнул красивый профиль и грива выющихся рыжевато-каштановых волос. Я ощутил запах духов – пряных, немного сладковатых и явно очень дорогих.

– Привет, Мишель, – красавица замерла у литвиновского стола, точно ожидая приглашения сесть рядом.

Приглашения не последовало.

Михаил приподнялся, вежливо и церемонно кивнул девице головой в знак приветствия, потом сел и отвернулся к окну. Красотка же, нервно дёрнув головой и презрительно фыркнув, села в конце соседнего ряда. Я сразу расслабился, поняв, что Литвинов вовсе не голубой:

слишком много надсады было в позе и жестах девицы для банального знакомства. Тут несомненно пахло тяжёлым, затяжным и дурно складывающимся романом.

Наш куратор, замшелая старушка Лидия Вознесенская, которую я помнил по первым годам учёбы, сообщила моим будущим сокурсницам, что с ними будет учиться новенький – Юрий Истомин.

Одни девицы покосились на меня исподлобья, другие оглядели откровенно, не таясь. Я неволко поклонился, потом, помедлив, прошёл по проходу и сел рядом с Литвиновым.

Лидия Васильевна тем временем торопливо провела перекличку, и я узнал, что красавицу звали Ириной Аверкиевой.

Не давая никому времени на разговоры, в аудиторию вошёл Илья Ефимович Холмогоров, преподаватель языкоznания. Пока профессор раскладывал на столе пособия, я счёл нужным тихо спросить Литвинова, намекая на него, видимо, непростые отношения с Аверкиевой, не стоит ли мне на следующей лекции сесть отдельно?

Литвинов раскрыл толстый конспект, криво усмехнулся и прошептал:

– Женщинам часто кажется, что если довести бессмыслицу до абсурда, может получиться что-то осмысленное. Но это логическая ошибка. – Он наклонился к моему уху вплотную и ещё тише сообщил. – Рад, что вы отказались от нелепых подозрений на мой счёт. Вы довольно быстро соображаете. У меня, разумеется, есть грехи, но, упаси Бог, не содомские.

Я искоса метнул взгляд на Литвинова. Мне польстила его похвала, однако задело, что он столь правильно расшифровал мои подозрения. Одновременно сейчас, в хорошо освещённой аудитории, я недоумевал: с чего это он показался мне неприятным?

Выглядел Литвинов как типичный петербуржец: бледное интеллигентное лицо с нервным ртом и заострённым длинным носом. Разве что тёмные, чуть выющиеся волосы и глаза – какие-то восточные – выделяли его среди свинцовой питерской хмари.

Просочилась и другая мысль: «Что, интересно, у него с этой Аверкиевой?»

И я подивился себе, ибо никогда не отличался любопытством.

Первая лекция по языкоznанию была такой же скучной, как и те, что мне довелось слушать полтора года назад на четвёртом курсе, но, зная, как относится профессор к тем, у кого не обнаруживается конспектов его лекций, не удивлялся, что все записывали. У меня, по счастью, остался конспект доафганских времён, и я просто сверял его с лекцией Ильи Ефимовича, к радости своей не обнаруживая никаких существенных расхождений.

Литвинов тоже писал: отчётливым, почти каллиграфическим почерком, при этом – очень быстро. Временами я осторожно поворачивал голову направо – туда, где сидела Аверкиева, и всякий раз видел её взгляд в спину Литвинова – напряжённый и остановившийся, Литвинов же ни разу не обернулся.

В перерыве мы разговорились.

– Почему вас называют Шерлоком? – я сам удивился непривычному дружелюбию своего тона. – Практикуете дедукцию и расследуете преступления?

– Нет, – покачал головой Литвинов, – любая логика – это искусство мыслить в строгом соответствии с ограниченностью человеческого разума, потому-то логика умеет ошибаться с полной достоверностью, и ничто так не логично, как глупость. Я скорее интуитивен, чем логичен.

Отметив мягкую плавность его речи, я восхитился и даже позавидовал. Полтора года войны, надо признать, лишили меня красноречия. Мне часто не хватало слов, трудно было выразить мысль, речь стала лапидарной, как предгорья Гиндукуша, и это раздражало.

– И что это значит на практике? – поинтересовался я.

– Если логика говорит мне, что жизнь – дурная и бессмысленная случайность, я посыпаю к чёрту логику, а не жизнь, – любезно пояснил Литвинов.

Промелькнула мысль, что сам я когда-то поступил как раз наоборот, но я промолчал.

Из дальнейших разговоров с новым знакомым выяснилось, что новоявленный Холмс специализируется на кафедре русской литературы. Затем Литвинов сообщил, что ему чихать на кровавые тайны Боскомских долин и обряды дома Местгрейвов, просто он увлёкся психологией текста и сегодня может прочитать любого поэта и писателя как книгу, – по его стихам и прозе. И именно этим он и занимается на досуге, развлекая сокурсников. Он – Шерлок от литературы.

Я счёл это ненаучным.

– В подобные изыскания неизбежно вторгаются личные предпочтения исследователя, – возразил я ему. – Историк литературы никогда не может быть абсолютно беспристрастным.

Михаил на мой аргумент только пожал плечами и вяло возразил, что беспристрастны только кирпичи, трупы да диссертации.

Я находчиво выдвинул новый аргумент:

– Прошлое недоступно наблюдению, со временем неясными становятся причины событий, основания и мотивы поступков.

Однако Михаил и с этим не согласился:

– Астрономы судят о далёких галактиках по доходящему до Земли свету, и считают свои исследования вполне научными, в моём же распоряжении – вещественные следы прошедших эпох: книги, письма, дневники, воспоминания. Сиди и анализируй.

Я снова не согласился, но разговор заинтересовал и как-то расслабил. Впервые за много дней перестали раздражать чужие слова и физиономии, не вызывали никаких эмоций визги девиц за спиной, и даже накрапывавший за окном сентябрьский дождь не нервировал, а успокаивал.

Лицо Литвинова, умное и живое, теперь нравилось.

Чего я утром на него взъелся?

Однако я не решился спросить его об Аверкиевой, причём не только на языкоznании, но и на истории философии и спецкурсе по Достоевскому, куда записался только потому, что туда пошёл Михаил. Отношение Шерлока к девице явно противоречило той фразе о любви, что он бросил в коридоре.

Я был заинтригован новым знакомством и откровенно обрадовался, неожиданно получив приглашение зайти к нему после занятий подзакусить.

Как оказалось, квартировал новоявленный Шерлок не на Бейкер-стрит, а в Банковском переулке, совсем рядом.

Глава 1

Большой секрет для маленькой компании

Другом является человек, с которым я могу быть искренним. В его присутствии я могу думать вслух.
Ральф Эмерсон

Квартира Литвинова в старомодном, но внушительном особнячке в Банковском переулке, к моему немалому удивлению, оказалась не съёмной хатой, а собственностью Мишеля, завещанной ему покойной бабушкой. И устроился он там недурно: обстановка была вовсе не богемной, чего я, признаться, ожидал, а весьма солидной, едва ли не антикварной. Никакого тебе минимализма: два массивных буфета с витражами цветного стекла, литая бронзовая люстра с фавнами, диван с грузными подлокотниками, перетянутый бледно-зелёным бархатом, повторявшимся в цвете тяжёлых портьер на окнах.

Модерн.

В большой спальне, оклеенной тёмно-вишнёвыми обоями, фронтальная стена была занята коллекцией старинных часов с мелькавшими маятниками и причудливыми циферблатами, в углу громоздилась кровать и два кресла, накрытые пушистыми пледами, а боковую стену занимали полки с книгами. На полу лежал огромный ковёр.

Такого я у питерцев отродясь не видывал.

Мишель, снова прочитав мои мысли, пояснил, обстановка в квартире частью наследственная, а частью собранная им по свалкам и распродажам, подправленная и отреставрированная. Нет ничего интереснее, поведал мне он, чем восстанавливать из праха останки вещей и оживлять мёртвых.

Литвинов с откровенной гордостью снял с журнального столика тяжёлый подсвечник.

– Этот канделарий я нашёл среди кучи хлама на стройплощадке за Лиговским, когда ломали старый дом. Он весь позеленел от патины и два рожка были отломаны. Реставрировал полгода, но в итоге... – Литвинов чуть отодвинулся, предоставив мне возможность полюбоваться плодами своих трудов.

Старый шандал, который Литвинов почему-то звучно именовал канделарием, действительно выглядел дорогой антикварной вещью.

– Диван тоже сам перетягивал, – похвастался он и, тяжело вздохнув, признался, что это потребовало от него неимоверного напряжения интеллекта.

Мы прошли на кухню.

– Ваши вкусы совсем не питерские, Михаил, – осторожно обронил я, садясь у подобия барной стойки.

– Это и бабушка говорила, – согласился Литвинов, покаянно повесив голову, и тут же поднял её, ставя на плиту кофе и доставая из холодильника кулебяку. – Подлинную цену жизни познаёшь, когда теряешь всё. Бабуле после блокады буханка хлеба казалась сокровищем, а бриллианты – ненужной стекляшкой. Она не любила ковры и пледы и никогда не носила украшений. А у меня это, надо полагать, издержки взросления. Само пройдёт, – махнул он рукой.

В кухне, явно не рассчитанной на большие компании, было тепло и уютно. Я совсем расслабился и неожиданно для себя самого перешёл на «ты».

– Почему ты прихрамываешь?

Ответ шибанул меня, как взрыв фугаса.

– Панджшер, – со странной вежливостью ответил он. – Правда, пробыл я там всего три месяца и, в общем-то, дёшево отделался. Три года сильно хромал, уже полгода хожу без палки, но после долгой ходьбы слегка заносит. Никак не могу отучиться думать, куда ставить ногу. –

Он зло поморщился и нервно закурил, тут же брезгливо посмотрев на сигарету. – Чёрт, снова курю, а ведь хотел же завязать… – ругнулся он и вернулся к теме. – Это неумная военная компания напоминает юношеские потуги на блуд, не вовремя начинаешь и кончашь, когда не надо. – Потом, утонув в клубах дыма, неожиданно добавил, – кто это сказал, что война без ненависти так же отвратительна, как сожительство без любви?

– Тебе долго это снилось? – спросил я, не ответив ему.

– Пару месяцев, – педантично ответил он. – Потом я сказал себе, что не позволю дурным воспоминаниям испортить себе жизнь. Это было не логично, но интуитивно. – По его лицу пробежала тень. – Меня там называли скелетом и удивились, когда пуля попала в бедро. Мой командир так прямо и рубанул: «А у него разве есть ляжки?» Оставим это, – отмахнулся он.

Я тоже не хотел говорить на эту тему, однако, заметив, что он не чурается вопросов, решился спросить о том, что уже полдня интриговало меня.

– Ты сказал, что всем не хватает любви…

– Сказал, – кивнул он, загасив окурок, и с явным аппетитом вгрызся в кусок кулебяки.

Запах кофе навевал сонливость и создавал ощущение чего-то очень домашнего.

– Но этой Аверкиевой, – я осторожно разрезал свой кусок на две половинки, – ведь ей тоже не хватает любви.

– Ой, ли! – бесшабашно расхохотался Михаил, но потом стал серьёзнее. – Каноническая формула гласит: «Бог есть любовь», но по законам логики обратное не обязательно верно. Не каждая любовь, поверь, божественна. Важно тонко различать дефиниции. Любовь и женщина – понятия не тождественные. Ищи я аналог, обрёл бы его в буддизме. Женщина – пустота. Пустота засасывает. Вот почему мужчину влечёт к женщине. Любовь тут совершенно ни при чём.

Он так артистично кривлялся, что я не мог не рассмеяться.

– Хотя, кто знает, – философично добавил он, – может, и существуют женщины, с которыми можно провести вечность? – он закатил глаза в потолок. – Но не жизнь. Я готов тратить на женщину время и деньги, но мотивация должна быть убедительной. Пустота же неубедительна, – продолжал паясничать Литвинов. – Безгранична любовь разворачивает безгранично, а ведь рамки приличий и без того расширились в последнее время до безобразия.

Мишель допил кофе и неожиданно смущённо пробормотал.

– Раньше угрызения совести преследовали меня после каждой любовной истории, а теперь – ещё до неё. Порой чувствую себя фетишистом, который тоскует по женской туфельке или подвязке, а вынужден иметь дело со всей женщиной. При этом чтобы сделать женщину несчастной, иногда достаточно просто ничего не делать, вот в чём ужас-то.

Сентенции Мишеля в какой-то мере прояснили для меня положение.

– Бедная Ирина Аверкиева, – небрежно обронил я.

Литвинов небрежно отмахнулся.

– Такие мечтают о Казанове, у которого не было бы других женщин, а окрылённые любовью уподобляются летучим мышам. Их любовь – не жалобный стон скрипки, а торжествующий скрип кроватных пружин. Но в итоге от тебя останется одна тень, предупреждаю, – подмигнул он. – Я же изначально слишком тощ, чтобы пускаться в подобные авантюры.

Он тонко смешил акценты, несомненно, поняв, что девица заинтересовала меня.

– Девочка меркантильна? – уточнил я.

– Можно ли купить любовь за деньги? – брови Мишеля снова шутовски взлетели вверх. – Конечно. Купи собаку. А тут бесплатной будет только луна. А главное, – он склонился ко мне, нравоучительно подняв указательный палец, – избегай секса. После него дело обычно доходит до поцелуев, а там и до разговоров. И тут всему приходит конец. – Он вычертил длиннопалой рукой в воздухе Андреевский крест. – Истинную формулу любви оставил нам Гёте: «Если я люблю тебя, что тебе до того?»

Нахал сказал вполне достаточно, чтобы предостеречь меня, и я сменил тему, спросив, почему он поступил на филфак?

Михаил пожал плечами и ответил вопросом:

– Я всегда любил полнолунье, свечи в шандахах, крепкий кофе, разговор с умным человеком и книги. Что из перечисленного я мог сделать профессией?

– Ты не разочаровался?

Литвинов пожал плечами.

– Говорят, – Мишель подмигнул, – по крайней мере, Щедрин и Булгаков где-то обронили, что литература изъята из законов тления. Она не признает смерти, и рукописи-де не горят. Когда я это впервые услышал, ужаснулся, – вытаращил глаза Литвинов, – но, по счастью, оказалось, что всё обычна ложь. Поэты слишком много лгут, Заратустра прав. Рукописи прекрасно горят, и каждая сожжённая книга освещает мир, а иные, те, что с добротными картонными переплётами, ещё и согревают.

Литвинов явно изгаялся, но столь артистично, что я снова усмехнулся, а Михаил, снова вытаращив огромные глаза, продолжал.

– Литература – тень доброй беседы, а русская литература – просто национальный невроз, – он сморщил нос, точно унюхав зловоние нужника. – Советская же – ещё и инфернальна вдобавок. В этом году у нас два семестра изучения самых диких литературных искажений и духовных перекосов.

– Мне казалось, – осторожно заметил я, – что тебя должна больше интересовать философия, – на лекции по истории философии я заметил, что Литвинов – любимец профессора.

Мишель картинно содрогнулся.

– Философия громоздит эвересты мысли, но каждый философ субъективно и нагло исходит не из меня, а из себя, и мир оказывается то категорическим императивом, то волей и представлением, то борьбой классов, то ещё какой-то ерундой. – Он вздохнул. – Философия, конечно, аристократична, как жажда мудрости, но Россия давно утратила аристократизм, его вывезли на известном пароходе. А оставшимся в философии нет ни нужды, ни проку. Разве что диссертацию сляпать на эклектике старого вздора и вздорных новинок. Работяги обычно мыслят чувствами, интеллигенция – амбициями, интеллектуалы – дурью да заскоками. Зачем нам философия? И вообще, – оборвал он себя, – после того, что мы вытворили со своей страной, нам ещё сто лет просто молчать надо. От стыда. Мы не умеем думать сами или не умеем мешать думать своим дуракам, и потому – silentium.

– Было бы больше знающих литературу и чувствующих искусство, таких страниц истории не было бы. Так ты сторонник чистого искусства и академической науки? – уточнил я, пытаясь разобраться в его взглядах.

– Нет, с чего бы? – пожал он плечами, явно удивившись. – Я, скорее, консерватор, а, главное, сторонник крайней элитарности оценок и противник дурных идей.

Он встал, методично помыл кружки и снова заговорил с непонятной мне раздражённо-брзгливой гримасой.

– Увлечение нашего национального гения Вольтером отрыгнулось нам декабризмом. А дальше «декабристы разбудили Герцена etc...» Революции начинаются за столетие до своего начала и в основе своей имеют одну-две ложных, безбожных и пламенных идеек, проникающих в набитые паклей мозги. Рано или поздно головы запылают.

Мишель вздохнул.

– Вот тут и понимаешь инквизицию с её «Индексом запрещённых книг» и охраной ватных мозгов от пламенных идей. У нас же, как верно изволил заметить другой национальный гений, «русский Бог сплюховал». Именно поэтому не могу согласиться с твоим утверждением, «было бы больше знающих литературу и чувствующих искусство, таких страниц истории не было бы...» Наоборот. Чем меньшее влияние имела бы наша литература с её пенями о «малень-

ком человеке», да некрасовским «зовом к топору», – тем больше шансов было бы уцелеть в 1917-ом. Миром правят идеи, причём, самые пошлые. Потому-то литература отвечает за весьма многое, она распространяет идеи. И пустые идеики постмодернизма с их алогизмом и фрагментарной реальностью нам ещё тоже, уверяю тебя, отрыгнутся.

– Ты считаешь коммунизм – трагедией?

– Трагедия – это мои ровесники кричат про совок и тупых комуняк, а спроси, чего хотят они сами, тебе начинают цитировать программу РСДРП 1903 года, причём местами дословно. Изучая историю, я натолкнулся на удивительные случаи «чёртовых кругов», когда одну и ту же нацию постоянно носит по одним и тем же колдобинам, и никто, увы, ничему не учится – ни на своих ошибках, ни на чужих.

– Понятно, – протянул я. – А что ищешь?

– Бога, разумеется, – ответил Мишель так, словно ответ подразумевался сам собой.

Узнав, что я снимаю комнатушку на Малой Балканской за Дунайским проспектом, Литвинов осуждающе покачал головой, пробормотав, что это же почти в Шушарах, откровенно критикуя даль, в которую я забрался. Потом предложил поселиться рядом с ним: наверху, на мансарде, сдаётся комната.

Я сожалением развёл руками, ибо обременять отца не хотел, а со стипендии не разгуляешься. Но стоимость квартирки, к моему немалому удивлению, оказалась совсем мизерной. Ванны и душа там не было, к тому же, батарея, по словам Литвинова, не грела. Зато рядом с университетом.

Я неожиданно быстро решил: я экономил массу времени на проезде и, что скрывать, меня привлекла возможность поселиться рядом с Михаилом. Я устал от разговоров с самим собой, а с ним, я уже понял это, было приятно поболтать. Это ли не самый большой секрет для маленькой компании?

Вот так и вышло, что уже к шестому сентября я квартировал в центре города, причём вечера неизменно проводил с Литвиновым, быстро поняв, что ему почти так же, как мне, необходим собеседник. Мы подошли друг другу, и, несмотря на наши препирательства и споры, моя напряжённость начала медленно перетекать в безмятежность, дурные сны с предгорий Гиндукуша тоже сгинули. К тому же вскоре после нашего знакомства Литвинов притащил невесть откуда полосатого мокрого котёнка, названного им Горацием. От его присутствия в доме прибавилось уюта и покоя, но уменьшилось количество колбасы в холодильнике и порядка на книжных полках. Однако Мишель относился к хаосу, устраиваемому котом, философски, то есть пофигистически, объясняя мне, что хаосом мы просто склонны называть непонятную нам гармонию.

Сам же Литвинов обладал удивительным свойством – успокаивать одним своим присутствием, мягко сглаживать острые углы, незаметно обкатывая и шлифуя их, как океанские волны – острия камней.

Через пару недель я уже немного разобрался в его пристрастиях. Он абсолютно не интересовался политикой, никогда не смотрел новости, неизменно заявляя, что шум повседневности дурного века не должен вторгаться в его вечность, его любимым времяпрепровождением было витание в эмпиреях в поисках эликсира бессмертия и литературные изыскания. Однако Мишель вовсе не обретался в мире иллюзий. Суждения его были остры и точны, словно он смотрел на жизнь через прицел автомата. Кроме того, ему была присуща невероятная стрессоустойчивость: его нельзя было обидеть, задеть или унизить, ибо у него, как я заметил, просто не было чувства значимости мира и серьёзности происходящего. Из таких людей при дурных наклонностях входят самые хладнокровные убийцы, но Литвинов не имел дурных наклонностей, был незлобив и умён. Он вертел словами и играл смыслами, считал, что вернейший способ сделать разговор нескучным – сказать что-нибудь не то, но в поступках был весьма осмотрителен.

Нет, не хочу сказать, что Литвинов был идеалом. Он не держал табак в ведёрке для угля, но вполне мог, поглощённый размышлениями о вечном, засунуть сигареты в холодильник, туда, где лежали яйца. Он не играл на скрипке, но все часы в его доме ежечасно на разные лады отбивали время, он же отказывался останавливать их, уверяя, что часовой механизм портится от простого. И, уж конечно, я никогда не мог примириться с его жуткой манерой варить суп: добавляя в кипящую кастрюльку очередной ингредиент, Литвинов всегда злодейски хихикал, бормоча заклинания шекспировских ведьм в «Макбете»:

«Жаба, в трещине камней
пухнувшая тридцать дней,
из отрав и нечистот
первою в котёл пойдёт.
А потом – спина змеи
без хвоста и чешуи,
пёсся мокрая ноздря
с мордою нетопыря,
лягушиное бедро
и совиное перо,
ящериц помет и слизь
в колдовской котёл вались!»

Я много раз пенял ему на подобное поведение, Литвинов же неизменно отвечал, что занимаясь столь скучным делом, как приготовление пищи, он имеет право развлекать себя, как умеет.

Стряпать он не любил, зато любил считать себя гурманом.

Я быстро убедился в глубокой эрудиции Мишеля, но, признаюсь, всё ещё сомневался в его литературно-детективных способностях. Однако вскоре мне представился случай убедиться в его правоте.

Но об этом – в следующей главе.

Глава 2

Никогда не играйте с оружием

*Ложь всегда извивается, как змея,
ползёт ли она или лежит в покое;
лишь когда она мертва,
она прямая и не притворяется.*

Мартин Лютер

«Загадочная гибель одного из самых ярких поэтов прошлого века Владимира Маяковского волнует поклонников и по сей день. Что же послужило роковой причиной рокового выстрела?..»

На повороте к Банковскому переулку я захлопнул книгу и попросил таксиста остановиться, расплатился и несколько секунд размышлял, как без зонта проскочить от стоянки до литвиновского парадного, не вымокнув до нитки. Потом понял, что размышления не помогут, выскочил на мокрый тротуар и под проливным дождём ринулся к дому.

Увы, мне повезло, как утопленнику: по пути я ступил в лужу, маскировавшую основательную выбоину в асфальте, и в итоге провалился в воду по щиколотку.

Проклиная чёртов дождь и собственное невезение, я добрался до квартиры Литвинова.

– А, Юрик, – заметив меня, кивнул Мишель, который возлежал на диване с котом, и только что не мурлыкал вместе с Горацием. – Оказывается, он не лжёт.

– Кто не лжёт? – я включил чайник, отжал и повесил мокрый носок на батарею и водрузил рядом промокший ботинок.

– Каудильо Франко, – с готовностью сообщил Мишель. – Его людей обвиняли в убийстве Гарсиа Лорки. А он – чист, как голубь. – Мишель соизволил наконец заметить мой мокрый ботинок на обогревателе. – Там, что, дождь?

– Там ливень, сэр, – издевательски проинформировал я его и тут, вспомнив прочитанное, оживился. – Слушай, брось своего каудильо, подумай-ка о смерти Маяковского. Он покончил с собой, и никто до сих пор не понял, почему. Я сегодня к семинару книгу о его самоубийстве прочитал. Всё чин по чину: записка, пистолет, пуля в сердце. Давай, разберись, что к чему, а?

Я, что скрывать, просто провоцировал дружка, ибо был уверен, что ничего он не обнаружит.

Мишель с задумчивым видом уставился в потолок.

– Почему бы и нет?

К самоубийцам он относился презрительно, но не по религиозным соображениям, а из любви к церемониям и этикету, считая, что бес tactno являться к Господу незваным. Он и сам незванных гостей терпеть не мог.

– Дай мне время до пятницы, – попросил он. – Изучу воспоминания, личность, стихи, воссоздам картину смерти и всё пойму.

Я уже успел притерпеться к апломбу Мишеля и даже ухом не повёл. Мы выпили кофе, обсудили поездку в Павловск, поболтали о чистом, как голубь, каудильо Франко, но, выслушав носок и направляясь к себе, я напомнил ему о Маяковском.

Уж очень хотелось сбить спесь с дружка.

У себя я специально прочитал ещё несколько книг о поэте, чтобы не выглядеть профаном, и в пятницу вечером появился у Литвинова. Мишель был обложен томами стихов Маяковского и исследований о нём, и отгонял от книг полосатого Горация, плотоядно приютившегося к пожелтевшим страницам старого издания поэта.

– Ну, что же, Юрик… – задумчиво пробормотал Литвинов, жмурясь, как кот на майском припёке. – Тайну смерти Маяковского я разгадал.

– И выяснил, почему он покончил с собой? – насмешливо осведомился я.

– Представь себе, – глаза Мишеля довольно блестели.

Я смерил его недоверчивым взглядом, немного смутившись. Дружок мой, надо заметить, был всё же не позёр и не лгун и, если что утверждал, то доказательства подбирал умело. Однако вот так, за три дня – разгадать тайну, над которой бились десятки исследователей и просто любителей криptoисторий?

– Свежо предание, да верится с трудом, – ответил я классической цитатой. – Улики в студию!

– Слушай же внимательно, Юрик, – продолжал глумящийся нахал, лучась улыбкой, – и я проведу тебя узкими тропинками моих размышлений в царство высоких озарений.

Я насмешливо хохотнул и плюхнулся в зелёное кресло. Кот Гораций, как по команде, свернулся калачиком у ног Мишеля, а Литвинов с царственным видом откинулся на диванную подушку.

– Итак, с чего начнём? Думаю, первое, на что обращаешь внимание, – начал Мишель, – это совсем иной тон и смысл стихов Маяковского по контрасту с классикой. Это действительно новый и даровитый поэт. Даровитый, да. Но разве раньше поэзию творили бездари? Чем же Маяковский отличается от Жуковского, Пушкина и Лермонтова?

Я задумался, но ответа не нашёл.

– Новым мышлением и новым взглядом на вещи, – ответил за меня Мишель. – Революция вырезала дворянство как класс, и его кодекс чести и благородства, его этикет и манеры стали анахронизмом. Что же исчезло из мира вместе с благородством? Вот первое попавшееся определение, – он сунул нос в академический словарь. – «Благородство – высокая нравственность, самоотверженность, честность; великолюшие, рыцарство, возвышенность, святость». Да, всего этого нет в постреволюционном обществе. Торжествуют безнравственность, эгоизм, лживость, малодушие и низость. И всё это, увы, свойственно и поэту революции.

– Ты уверен? – посыпал Мишеля показался странным.

Литвинов раскрыл том стихов поэта.

– Пойдём от текста. Лейтмотив ранних стихов, как пишет Карабчиевский, кстати, один из лучших его исследователей, это обида и озлобленность, ненависть к более успешным, и – самолюбование. Как мило звучит эпитет «шлялся, глазастый» о самом себе, не правда ли? Проскальзывает и момент половой неудовлетворённости: любовь «рубликов по сто» нашему поэту не по карману, но почему женщины не хотят ублажить его задарма? – этот вопрос зависает в воздухе.

Гораций заурчал и пошевелил пушистым хвостом.

– Итак, он – нелюбим, – как ни в чем не бывало продолжал Михаил. – В молодом Маяковском проступают и хамоватая грубость, которая, правда, может маскировать застенчивость, и душевная неуравновешенность, которую можно принять за поэтическую чувствительность. Ходит он, однако, в ярко-жёлтой женской кофте – явно пытаясь привлечь к себе внимание.

– Тут нет ничего особенного, – отозвался я, вступившись за классика. – В те годы, как говорил Бунин, все «мошенничали» и все были наряжены: Андреев и Шаляпин носили поддёвки, русские рубахи навыпуск и сапоги с лаковыми голенищами, Блок – бархатную блузу и кудри, даже Толстой рядился в лапти – под мужика. Другой Толстой корчил из себя барина, ходил в медвежьих шубах, купленных у Сухаревой башни, Есенин был известен валенками, окрещёнными Гиппиус «гетрами», сама же Гиппиус рядилась в «белую дьяволицу», и всем ряженным в эти годы несть числа. Так что футуристическая жёлтая кофта…

– Да, – согласился Мишель. – Шокировать окружающих – известный способ получать удовольствие. В особенности для тех, у кого самоуважение зависит от количества привлечён-

ного к себе внимания. И давно замечено, что более всего этой зависимостью грешат поэты. Александр Сергеевич Пушкин, к примеру, отращивал длиннющие ногти, полировал их до блеска и даже красил. Альфред де Мюссе носил на шее, как платок, подвязки своих любовниц. Высокорослый худой Гумилёв собирал толпы зевак, прогуливаясь по Петербургу в черных, выше колен сапогах, чёрном «испанском» плаще и высоченном чёрном цилиндре. Его ученик, Григорий Оцуп, одно время ходил во всем клетчатом – в клетчатой рубашке, галстуке, костюме, кепке, носках… и даже ботинках. Это все было обычным. Но у Маяковского были и явные странности. Наш поэт всегда и везде возил с собой резиновый тазик и постоянно тщательно мыл руки – после каждого рукопожатия. Никогда не держал кружку в правой руке, хоть и был правшой, а пил пиво и чай с левой стороны, почти со стороны ручки, порой – через соломинку.

– Почему? – изумился я. – Шизофреник?

Кот тоже странно посмотрел на Мишеля.

– Нет, – торопливо разуверил меня Литвинов, – не надо бросаться такими словами. – И он тут же поспешил растолковал. – Это просто детский страх. Его отец умер от заражения крови, проколов палец скрепкой, когда шивал бумаги, и Маяковский панически боялся любой заразы. – Мишель закинул ногу на ногу и продолжил. – Но странности поэта этим не исчерпываются. Он всегда, по крайней мере, в зрелости, носил с собой пистолет.

– Тяга к суициду? – с готовностью предположил я, кивнув.

Кот Гораций встал и перебрался ко мне на колени.

– Снова нет, – Мишель покачал головой. – По словам Маяковского, в него однажды кто-то стрелял. Поэт носил оружие для самообороны. Он боялся воров и убийц. И – коллекционировал пистолеты. В разных источниках приводятся разные данные, но все сходятся, что Маяковский имел браунинг, люгер, то есть парабеллум, и байард. Кое-где говорится, что в комнате, где оборвалась его жизнь, был целый арсенал: аж два люгера и два браунинга. А тот пистолет, из которого был произведён роковой выстрел, это маузер, подаренный Маяковскому начальником отдела ГПУ Яковом Аграновым.

– Ага, уже интересно...

Я, признаться, был почти уверен, что Мишель найдёт в смерти поэта след коварных замыслов ГПУ.

– Пока ничего интересного, – жёстко опроверг меня Литвинов и включил торшер, сразу заливший комнату уютным домашним светом.

Гораций, разлёгшись у меня на коленях заурчал, требуя почесать его за ушком. Я почесал, продолжая внимательно слушать.

– Это был подарок на день рождения за два года до смерти, – уточнил Мишель. – Подарок военного – поэту революции. Маузер был самым «крутым» по тем временам пистолетом: патронник перед спусковым крючком, изящная рукоятка, мощное длинное дуло. Это почти карабин. Модерн! Не удивлюсь и дарственной надписи. Но гэпэушного следа в деле нет, агентами ГПУ были Осип и Лиля Брики, сам Маяковский имел комнату в доме работников ГПУ, он играл с ними на бильярде и посвящал им стихи. «Мы стоим с врагом о скую скую, и смерть стоит, ожидая жатвы. ГПУ – это нашей диктатуры кулак сжатый…» Это куда как не критика, это апологетика, Юрий.

– Ты твёрдо уверен, что ГПУ ни при чём? – напрямик спросил я.

– Уверен. И даже то, что маузер Агранова исчез из дела, не кажется мне криминалом. Да, Агранов распорядился его из дела изъять, но я на его месте поступил бы так же. Я тоже не хотел бы, чтобы мой подарок фигурировал в деле о самоубийстве именинника. Однако мы забегаем вперёд. Пока у нас на одной чаше весов – панический страх заразы и боязнь нападения, на другой – слова Лили Брик: «Мысль о самоубийстве была хронической болезнью Маяковского, и, как каждая хроническая болезнь, она обострялась при неблагоприятных условиях…» «Едва

я его узнала, он уже думал о самоубийстве. Предсмертные прощальные письма он писал не один раз», «Он любил неожиданно и весело, как бы между прочим, говорить в компаниях: «К сороке застрелюсь!» Лиля также рассказывала, что однажды Маяковский позвонил ей и сказал, что стреляется. Она примчалась к нему и застала его сидящим у окна. – Губы Мишеля насмешливо скривились. – Он сказал, что выстрелил в себя, но была осечка.

– Ты не веришь Лиле Брик? – спросил я, заметив его саркастическую усмешку.

Мишель покал плечами.

– Почему? В её рассказе нет ничего особенного. Она неглупая женщина, а ложь таких женщин обычно чем-то мотивирована. Верю ли я Маяковскому – вот более серьёзный вопрос. – Литвинов снова взял в руки какую-то потрёпанную книгу и продолжал. – Леонид Равич, поклонник поэта, рассказывает один любопытнейший эпизод. Они с поэтом гуляли и увидели детей в песочнице. «Маяковский остановился, залюбовался детьми, а я, будто меня кто-то дёрнул за язык, тихо процитировал его стихи: «Я люблю смотреть, как умирают дети...» Маяковский молчал, потом вдруг сказал: «Надо знать, почему написано, когда написано, для кого написано. Неужели вы думаете, что это правда?» Запомни это, Юрик. Это *ключевые слова*.

– Почему? – я в этих стихах ничего особенного, кроме дурного поэтического эпатаха Маяковского, не видел. И то, что задним числом Маяковский не признал их правдивыми, меня, в общем-то, совсем не удивило.

– Потому что точно так же: «*Неужели вы думаете, что это правда?*» – он мог бы сказать о любой своей строчке, – спокойно заметил Литвинов, и его слова на минуту точно зависли в воздухе. – Правда не имела для него никакого значения. Нет, – покачал он головой, заметив мой удивлённый взгляд, – он не был убеждённым лжецом. Он, боюсь, просто не знал, чем ложь отличается от правды. Ни у одного поэта так не велик разрыв между жизнью и стихами. Посуди сам. Он живёт в «семье на троих» с Бриками – и пишет стихи о подонках, «присосавшихся бесплатным приложением к каждой двуспальной кровати». Он кричит всем сытым в двадцать втором голодном году: «Чтоб каждый вам проглоченный глоток желудок жёг!», а на своей даче в этот же год устраивает приёмы и просит домработницу наготовить «всего побольше». Славивший «молнию в электрическом утюге», он не мог сам починить не то что утюг, а даже штепсель от него. Он с его «выше вздымайте, фонарные столбы, окровавленные туши лабазников» смертельно, просто панически боялся вида крови. Любил ли он смотреть, как умирают дети? – Мишель насмешливо фыркнул. – Нет, ему делалось дурно, когда умирали мухи на липкой бумаге. Следовательно, верить стихам поэта я не буду, и все пламенные строчки, вроде: «А сердце рвётся к выстрелу, а горло бредит бритвою...», я тоже, с твоего позволения, Юрик, сочту пустой риторикой. Он сказал Лилю, что стрелялся. А был ли выстрел-то? Может, он её просто на ночку так заманил, чтобы пожалела и осталась, а? Скорее я сделаю вывод, что он был неплохим артистом. Ведь она поверила. Но вечные разговоры о суициде и подобные демарши, – лицо Мишеля исказилось в рожицу горгульи, – это бес tactno и некультурно.

Я был противником самоубийства исключительно по личным мотивам, но тоже кивнул. Кот мерно урчал у меня на коленях, закрыв глаза, и никак не прореагировал на слова Литвинова.

– А теперь, – Мишель на миг задумался, – попробуем воссоздать его личность – по сплетням и воспоминаниям современников.

– Ах, у нас уже и сплетни – источник познания? – я иронично усмехнулся.

– А почему нет? Сплетня и ложь – не синонимы, не каждая ложь – сплетня, и не каждая сплетня – ложь, – покал плечами Литвинов. – О Маяковском много сплетничали. Чуковский услышал от знакомого врача, будто Маяковский заразил какую-то гражданку сифилисом, поделился новостью с Горьким, а основоположник соцреализма довёл её до ушей наркома Луначарского. Произошёл обидный для советской литературы скандал. Ложь всё, кстати. Сифилиса

не было, но Маяковского часто объявляли и сумасшедшим, и исписавшимся, и литературным трупом. Намекали и на худшее: одну из причин самоубийства видели в импотенции.

Я нахмурился.

– А ты в это не веришь?

– Нет, он же жениться хотел, – пожал плечами Литвинов. – Но в быту это был человек крайне тяжёлый и утомительный. Окружающим он запрещал быть «мещанами»: наряжаться, обзаводиться приличной мебелью, играть на гитаре, держать канареек и, вообще, отвлекаться от строительства социализма. Сам же одевался за границей, снабжал Лилю Юрьевну французскими духами и другими милыми дамскими вещицами, включая кружевные рейтзузики и клетку с канарейкой. Он имел обыкновение декларировать свою силу, но, нарываясь на скандалы, пускал в ход связи, а не кулаки. Более того, встретив сильного противника, обижался, плакал и вёл себя не по-мужски. Кстати, был и казус. Один редактор журнала однажды... вызвал его на дуэль. Он не пришёл. – Мишель усмехнулся. – Он был придирчивым педантом, занудой и истериком: скандалил по пустякам с домработницами, третировал официантов в ресторанах, судился из-за гонораров и любил писать обстоятельные жалобы. Весь он – на контрастах. Его «последняя любовь» Нора Полонская пишет: «Я не помню Маяковского ровным и спокойным. Или он был искрящийся, шумный, весёлый или мрачный, и тогда молчавший подряд несколько часов. Раздражался по самым пустым поводам. Сразу делался трудным и злым». Маяковский, кстати, терпеть не мог и собратьев по перу. Брюсова именовал бездарностью, Блока – никчёмным поэтом, Есенин, по его словам, «истекал водкой». Он громил «Толстых, Пильняков, Ахматовых, Ходасевичей». Обнаруженный в следственном деле Пильняка подписанный Маяковским документ – обычный донос.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочтите эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.